СКВОРЕЧНИК

1

Из детских вёсен одна мне вспоминается особо. В конце зимы к нашей кошке Мяке повадился ходить через форточку уличный кот. Мяка у нас тигровая с белыми носочками, гладкая и до родного близкая каждой полоской. Когда плоско лежит на боку, а ты её гладишь, перед ладонью набегает шёлковая складочка.

Мне нравились особенно розовый и мокрый её нос и две круглые ворсистые подушки с точечками, из которых растут усы. Жизненную необходимость усов я понимал, но пухлые подушки с рядами точек восхищали особо, и я не сомневался, что существуют они исключительно для красоты и забавы. Любил задрать их толстую слоёную мякоть, вывернуть до розовой изнанки, чтобы у Мякиной морды вышло клыкастое и свирепое выражение, которое я называл «мышиный король». Если раскрыть-расклинить рот настежь, то можно потрогать аккуратнейшую ребристую насечку нёба. А можно потрогать и сам язык в светлом игольчатом ворсе, но Мяка начнёт делать им отчаянное выталкивающее движение и раздражённо подметать хвостом. А я умудряюсь ещё и уловить хвост в самом основании, комле, где одушевлённо-крепко ощущается зарождение движения. Кошка гнусаво взмявкивает и вырвавшись, убегает, задрав хулигански хвост.

Любил смотреть, как Мяка лакает молоко, и как, взбивая молочный столбик, двигается шершавый её язычок, и его биение образует розовый туманчик. А молоко стоит столбиком.

И тут кот. Он был как порыв ветра с сухим снегом и цементной пылью: дикий, с пепельной, как на офицерской ушанке, шерстью, плотной и будто пыльной, беспородной, короткой, а шрамы на морде и голове как выбоины на шапочном ворсе. Морда широкая и бакенбарды обьёмисто-крепкие, будто пустые, и весь кот грубый, боевой, насквозь пропитанный улицей.

Едва я вошёл в комнату, как он метнулся к форточке и был таков. Выражение Мякиной морды поразило: она лежала как ни в чём ни бывало –   
расслабленным калачиком. Я испытал сильнейшее ревнивое чувство: как так её, такую домашнюю, мягкую, *нашу,* не возмутил грубый облик кота, шарящегся неизвестно где и с кем. На следующий день котяра снова порскнул в фортку, и я обнаружил рядом с Мякой тёплую лёжку. Мяка так же невозмутимо лежала и живо на меня поглядывала. Удивляло, что на улицу она не ходила, а котяра-то про неё прознал, всё продумал и точнейше и вертикально взмывал форточку. Скорее всего она *так* сидела на подоконнике, что он, именно *наглядевшись*, решился на дерзкий запрыг. Это понятно теперь, а тогда мною владело единственное желание – предпринять что-то решительное, и я решил устроить коту ловушку.

Казалось, если закрыть форточку, то он, лишившись подтока уличных сил, будет наказан за наглость. Что делать с ним дальше меня не заботило – вся страсть сошлась на поимке. Караулить кота не получалось, и я пошёл по пути внезапности. В очередной раз подкрался к двери и, бесшумно её открыв, влетел в комнату, на долю секунды увидев кота, удобно прилежавшегося к Мяке. Серой молнией метнулся он к окну, но я опередил его и, захлопнув форточку, ещё и повернул вертушку, похожую на грибок в разрезе. И вертушка, и рама были грубо и многожды закрашены по облупленной поверхности, и слои краски выпукло повторяли очертания каких-то полуостровов.

Я бросился к бабушке в соседнюю комнату с криком: «Кот в ловушке! Кот в ловушке!» Кот заметался и жалко забился под кровать. Мяка метнулась вдоль стены, подавленно опустив хвост. Вместо охотничьей радости я испытал разочарование и чувство, что нарушил важнейшее равновесье. Дальше не помню: скорей всего мы отворили форточку и вышли. А бабушке очень понравился крик «Кот в ловушке!», и она рассказывала знакомым о моей охоте.

Главное же, что я запомнил: это ощущение вмешательства и пропасть между упоением победой и той беспомощностью, в которой оказались Мяка и её знакомый. Эту атмосферу вторжения в чужую тайну я вспомнил через несколько лет, читая «Тамань» Лермонтова.

К Лермонтову у меня было особое отношение – считалось, что меня назвали Михаилом в его честь (пусть и наравне с Кутузовым) и по настоянию бабушки. Если прозу Лермонтова я прочитал классе в шестом, то с его стихами бабушка меня познакомила намного раньше. «Белеет парус одинокой», «Тучки небесные, вечные странники», «Смерть поэта» – всё было знакомое, настольное, ранне-детское. «Белеет парус одинокый» – читала ещё Бабушка Вера.

Лермонтов виделся продолжением Пушкина. Оба казались двумя гранями одного и того же самоцветного и дикого камня, и я долго не мог понять меж ними границы: оба писали поэмы, прозу и погибли на дуэли. Разъять их было не под силу, равно как и понять, зачем Богу угодно было сказать дважды об одном и том же.

Пушкин был рядом с ранних лет, глядел с чудной картинки на шоколадке: с пером и бумагой в золоте свете, а над ним космически-глубоко синело небо с тонким месяцем. Пушкин звучал бабушкиным голосом: «У Лукоморья дуб зелёный»… Жил в большой детской книжке «Сказка о Царе-Салтане», где мне особенно запомнился бой коршуна с Лебедью, море в пенных завитках и чешуйчатое перо Лебеди. Издатель же Дед-Гиз казался собратом Старика из «Рыбака и рыбки». В моих семь лет мы читали «Евгения Онегина» вслух, то я главку-стих, то бабушка. С торжеством и трепетом она произносила: «Уж тёмно: в санки он садится. “Пади, пади!” – раздался крик; морозной пылью серебрится его бобровый воротник». Восхищали её и строки: «Ещё бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон брегета им доносит, что новый начался балет»… Пушкин… Уложенное в душу на самой её заре, золотое, янтарное сокровище, ведёт сквозь синеву лет и вмещается в одно слово – *родное*.

Не удивительно, что именно Пушкин запомнился сразу на всю жизнь, а десятки других книг – хороших, но именно детских, и словно укороченных, такого следа не оставили! То, как описывает бабушка те дни, для меня было открытием.

*5 февр. Вымыла пол, вымыла Мишку – обоих очень чисто. Спит, свинка, в чистенькой постели. Ручка его не пишет, всё перо скособочено – завтра покупать, а у меня денег 7 р. – 4 на школьные завтраки в понед. отдавать.*

*2 дня не ходил в школу – по радио позволили из-за мороза, а я под предлогом дала отдохнуть. И начали читать «Тимура» (кстати приходится всё объяснять, но интересуется очень, всё просил читать ещё.)*

*Вчера прочитали «Тёму и Жучку», а сегодня ещё «Неслуха» про медвежат, что взял в школе давно ещё. Читает ещё плохо. То начинает с середины слова, то задом наперёд, и никогда не догадается по контексту, пока не прочитает что это за слово. Удивительный тяжелодум. Многих слов просто не понимает, например, вчера «свежескошенная» и сегодня в «Тимуре» не помню какие слова. Учительница раз сказала «Способный мальчик, всё на лету схватывает». Какой уж там лёт! Просто она взяла штамп. Он понимает, когда что-то точно, ясно. Надо понять и запомнить, но без применения живого ума и смекалки. Как-то не так пишу… Не могу объяснить. Будем читать вдвоём до беглости, а потом вероятно через год начнёт читать один. Сейчас ему лень; и плохо понимает.*

*Мишка ужасен. Уроки делает так же, как ест. Куда-то бежит, отвлекается, то рисует, то с каким-то пластилинами мажется к машине. Весь день уходит на мишканье, сегодня 2 раза всыпала ему полотенцем.*

В первом классе учила нас замечательная учительница Екатерина Фроловна, человек чудный, добрейший и глубоко чувствующий именно это родное, и поскольку от учителя ничего более и не требуется, особенно любимая бабушкой. Прекрасное имя её поразило меня на всю жизнь, и я в одной книге так и назвал учительницу. Теперь хотел было назвать Елизаветой Ниловной, но не выдержал вынужденности и искусственности, оставил как есть: Екатериной Фроловной. Екатерина Фроловна носила телескопически-толстенные очки, и когда однажды их сняла, до слёз тронутая наивным словечком ученицы, то лицо её с мокрыми щеками оказалось поразительно босым, беззащитным и молодым.   
Ей на смену пришла Нелли Григорьевна, круглолицая и крупная молодая женщина в тёмно-коричневой, цвета указки, паре: кителе и короткой юбке. Причёска – того же цвета волосяной шар в сетке. На высоких каблуках она ходила неуклюже, в раскачку, и по бабушкиному делению была совершеннейший «вырви глаз».

В прочем и я не промах был: со своей вредностью отстаивал наше с бабушкой русское, живое, трепетное, не завёрнутое в хоть какую-то обёртку. В посленовогоднем сочинении описал праздничные приготовления подчёркнуто разговорным языком. «В комнате по серёдке поставили ёлку» и «нажарили картошки», а Нелли Григорьевна исправила «серёдку» на «середину» и «картошку» на «картофель» и поставила тройку.

Однажды Нелли Григорьевна вызвала меня читать «Зимнее утро». Стою у угла стола и читаю: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась»… Нелли Григорьевна останавливает, говорит, что слово «вечор» надо отделять паузой: «Вечор, это имя собственное, ты разве не видишь, что оно даже запятой выделено?! Вот и читай: «Вечор, (пауза) ты помнишь вьюга злилась?» Стихотворение я дочитал, оставшись при своём мнении, а дома доложил бабушке. Она сказала задумчиво: «А ты бы прочитал ей: “И, кажется, вечор ещё бродил я в этих рощах”»... «А что это?» –   
спросил я на свою голову. «Пушкин. Нельзя быть таким “серым” и так мало читать!» Примечательно, что слова «под голубыми небесами великолепными коврами», я сам читал через запятую после «небесами», будто ковры относятся к небесам. И много подпутывал, «от меча и погибнешь», мне слышалось как «отмечай, и погибнешь». В смысле, с мечом придёшь и, считай, погибнешь.

Бабушку произошедшее лишь утвердило в её правиле: что читать книги следует до того, как их растрактует учитель. Её стремление упредить касалось не только чтения, а многого остального: к примеру, меня отдали в школу, когда мне не хватало двух месяцев до семи лет. Многих первоклассников с такой нехваткой родители передерживали до следующей осени. Им было уже по восемь лет, и я оказывался на год моложе.

По росту я стоял ближе к концу, но об этом не задумывался, будучи покладист и вечно заворожен чем-то посторонним. Первым стоял Колька Лианозов, очень видный и крупный малый и всеобщий любимец. Лицо у него было классическое мужское, значительное, сбитое, с подбородком, но больше всего выражал взгляд: пытающий мир на прочность, спокойный, и сонный, и вызывающий одновременно. Не помню, чтоб он как-то особо отличился, сказал что-то яркое – и так был хорош, хоть и успевал плохо.

Бабушка про него написала в тетрадке:

*Ещё Лианозов – он у них командир. Кто родители не знаю. Учится в музыкальной школе – рояль. Самый большой ростом, видимо, взрослее по уму. Мишка стал подворачивать козырёк у серой ушанки. Вчера говорит: «Знаешь, почему Лианозов подворачивает козырёк? Ему ушанка велика». Лианозов собирает марки. Мишка спросил много ли у нас галльских петухов. Хочет видимо для Лианозова. Спрошу у Нелли Григорьевны, что это за мальчик.*

Я шалил, учился невнимательно и мне без конца подсаживали девочек-отличниц, чтоб заразили образцовостью. Помню, была Марина, колотившая меня линейкой, и беленькая Наташа, худощавая и милая, которой я говорил, что на ней женюсь, не питая специальных чувств, но в знак доверия. Марина говорила «Екатерина Флоровна».

Была третья девочка, которую не садили ко мне несмотря на все мои чаяния. Подобно Коле, она стояла на физкультуре первой у учениц. Звали её Люда Полякова. Выглядела она так: несколько длинное лицо, вытянутый нос и породный, надменный постав головы, роднящей её с борзой. Капризный рот, свинцово-синие непрозрачные глаза. И лёгкая врождённая даже не смуглость, а вечная загорелость, на фоне которой особенно светлыми гляделись почти белые с отливом волосы. Она заплетала их в косу, утягивая пряди с висков, со лба, и лоб оказывался особенно открыт. Пограничная же часть, не попавшая в затяг, золотисто и неухоженно завивалась по границе, создавая сияние. Главные волосы длинные, протяжные, жилистые, а вокруг лба тончайшая солнечная стружка. На конце косы, тяжёлой и будто влажной, кисть с бантом.

Красавицей не была, но излучала нечто гораздо более важное и не связанное с правильностью черт: сильнейшую врождённую женственность, которая буквально кричала и в облике, и в голосе, и движениях. В том, как, отложив ручку, смыкала кисти в замок и, вывернув наружу, медленно ими тянулась, или как, промакнув страницу, дула на неё, длинно вытянув губы. В груди, выпукло выступающей из выреза физкультурной майки и взятой пупырышками. В самом вырезе майки, который у неё был глубже, чем у остальных девочек. В разлётно-медленном грудном смехе.

Новый учитель физкультуры, бывший военный, служил с её отцом и однажды ей выговорил, что, мол, отца твоего я знал, а вот посмотрим, как ты себя покажешь: «А то я иногда гляжу… и вижу… В общем есть у тебя такое: – Я Полякова!» Мы вроде и захихикали, но для порядка, потому что сказанное звучало как признание её высшего пошиба, первейшей пробы. И потом всё повторяли краткий приговор: «Я Полякова!»

Если я был всех младше на год, то Люда – будто старше всего класса и даже Кольки, которого девочки любили с абсолютной естественной силой, а Люда эту любовь олицетворяла и ею распоряжалась.

Я попытался за Людой поухаживать, цапнуть, притереться, но она мгновенно шарахнула книгой по голове: «Сиди и не рыпайся!» Однажды оставил в её парте скомканную записку, что люблю. Она решительно подошла и сказала: «Нечего писать всякие глупости», мол, учился бы лучше, и в этой нотке педагогической обо мне заботы я нашёл ней свою сладость.

Уже будучи старшеклассником, живя в другом районе и учась в другой школе, я испытывал сильнейший зов взглянуть на наш прежний дом, по которому тосковал с первой минуты отъезда. Несмотря на его существование в одном со мной городе, возвращение к нему равносильно было походу во времени. В конце концов я в него и отправился, с каждым шагом поражаясь непоправимости изменений домов, деревьев, и даже голубей, до схлёста смыкающих крылья за спинами. Только дом наш стоял незыблемо родной и извечный, но уже с забитыми окнами, и казалось, именно забитые окна и не давали излёту прошлому. По всем правилам, я должен был встретить на улице Люду, и я её встретил. Опустив глаза, она медленно шла навстречу с мороженым. Лицо её было потяжелевшим, усталым и прекрасным. Я не посмел её окликнуть, и она так и прошла мимо, глядя задумчиво вниз. Мраморно-выпуклые веки были особенно крупны, и глаза прикрыты.

2

Люду отличала обострённая тяга ко всяким выступления, всему общественному, узаконенному. Спевки, наряды, стремление быть на виду. У неё был сильный голос и ей пророчили оперное будущее. Девочки всё время умудрялись петь – выстроятся в актовом зале в рядок, Люда главная – и поют, раскачиваются, как березки то в одну, то в другую сторону. Понятно, что учительница их настроила, недоумевал я. Но отчего же они не стесняются? Откуда знают столько песен, как умудряются всё запомнить, и главное, с такой готовностью воспроизвести? Когда они успели – услышать, выучить, спеться?

Раскачиваются деревцами и поют: «То берёзка, то рябина, куст ракиты на рекой, край родной навек любимый, где найдёшь ещё такой?» Симфоническое покачивание березняка и нравилось, и навевало сильнейшую грусть-тоску, хотя я и понимал, что склонение берёз и песни важная штука. И что Люда главная берёзка, а все остальные подлесок и на неё смотрят. Нравилась и само движение музыки, перелив. И смысл тоже был понятен, кроме слов «куст ракиты над рекой», в которые мне слышалась «строка» – «у *строки* ты над рекой».

Было и чувство глубочайшей, какой-то донной погружённости в жизнь, зимней грусти, обостряющейся в актовом зале или столовой – столик, чёрный хлеб на тарелочке, котлетка и жёлтое пюре плюшечкой. И помню, чувство целой эпохи оставили этот вкус пюре вперемешку с клонящимися берёзками.

На новогоднее выступление Люда приготовила номер и вышла в пачке, кокошнике и балетных тапочках, в которых переступала на носочках, а мне казалось, что в носочки вставлены пробки от винных бутылок.

Колю и Люду роднило нечто мощное. Такие люди, как отборная плоть мира сего, есть в каждом классе, как подмеченный писателями обязательный толстый мальчик или малохольный очкарик маменькин сынок. Эти видные, бесспорно уважаемые люди взрослеют и, поперебирав покалиберно себе друзей-подруг, обязательно в конце концов находят и друг друга, и всем будто легче, безопасней становится. Ходят вместе, а потом и свадьбу сыграют роскошно, а потом годы спустя их встретишь порознь, изношенных жизнью, его – грузного, испитого, её –   
истерически подсохшую, и обоих с выражением усталости и тяжести: тоже особой сильнейшей породы. Слава богу, оно не всегда так.

Никогда я не посвящал бабушку в свои душевные мытарства, но однажды поддался вечерней душевной ноте. Понимая, что надо сдержаться, что не по росту предмет, стал подмучивать бабушку, мол, угадай, кто мне нравится из класса? И пролепетал словечко «влюбился». Оно претило, как чужой словарь, но я кое-как вылепил его бастующими губами и чувствуя весь «вырви глаз», и что зря полез.

Бабушка тоже чуяла лишнесть разговора и стала показательно вынужденно перебирать фамилии девочек, мол, раз дошло, то, конечно, пожалуйста, но между естественным разговором и этим будет такая же разница, как между словечком «влюбился» и словом «люблю». И пошло мерно-задумчивое перебирание: «Ну, конечно, не Лоскутова, не Миронова, не Баукова, не Рыбина». Я помалкиваю, поддакиваю, а сам весь извожусь оттого, что причём тут Рыбина, если есть Люда Полякова… А бабушка гнёт свой перечень, в котором «не» нарастает и достигает вершины в слове «не Полякова». А я, поёживаясь от ликованья, выпаливаю, что да, как раз Полякова. Как раз она. Бабушка морщится, а я не могу понять, чем Люда-то не по ней? Пристаю. Бабушка долго ищет слово, мнётся:

– Ну она… она, как тебе объяснить…

– Ну какая?

Повисает что называется трудная пауза.

– Громоздкая.

– Как громоздкая?

– Ну громоздкая… – бабушка говорит прохладным голосом, в котором ничего нет, кроме недоумения: как можно не понимать, что Люда Полякова громоздкая девочка.

Больше всего мне обидно за свою несдержанность, ведь знал, не следует такие разговоры вести, а повёл:

– Бабушка, ну как громоздкая-то?

– Ну так… Все дети как дети пришли. А она – в пачке!

То, что я не всё путал и запоминал по-своему, подтверждается бабушкиной записью:

*Вчера их отпустили после трёх уроков и он ушёл с Сашкой Васильевым в их двор. Я два раза бегала в школу. Прихожу он дома. Руки в мазутной грязной воде с желтизной. Пробрала, и весь день был какой-то другой, как-то открылся, говорил о других ребятах, о секретах. Да ещё Димка с соседнего двора – говорят с ним секреты. «Я ему сказал секрет». Я не спрашиваю какой. «Только я тебе не скажу». Молчу. «Я тебе на ушко потом». – «Скажи сейчас». И он мне шепнул: «Какую девочку я люблю?» – «Какую же?» Стала перечислять. Оказалось Полякову. Вкус неважный.*

В конце февраля Нелли Григорьевна таинственным и торжественным голосом сказала нам, что ближе к весне мы пойдём в «подшефный детский сад вешать скворечники». Детский сад этот был неподалёку от нас во дворе дома, который я проходил по дороге в школу и в арку видел тополя. Огромные эти зимние, предвесенние тополя я хорошо чувствовал: стволина понизу в морщинистую жилу, а дальше гладкий и холодный до дрожи. Если задрать голову – шершавые бугорки, голые ветки и синее небо с бегущими облаками.

К весне я заболел. Не слушался бабушку, набрав полные валенки снега, лазил по сугробам, проваливался, валенки застряли с носками, я умудрился ещё и побегать босой, выпендриваясь перед Мишкой Кузнецовым и нарушив бабушкино правило: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». И эту картину запомнил верно, потому что бабушка безобразие записала подробно, хоть и не знала про снятие валенок.

*Был скандал с ушанкой (серой, на пуговке уши). Не хочет застёгивать. Я застегну, он расстегнёт. Так и сидели минут 15 в вестибюле, а потом по дороге продолжалось. Наконец – не расстёгивается, видимо руки замёрзли, идёт, ковыряет застёжку, злится, ревёт со зла. Ветер, метель… Возле дома: «Не пойду домой, пока не расстегну!» – «Ну и не ходи!» Пришёл минут через двадцать со двора – полные валенки снегу, шапка расстёгнута… Вот злыдня!*

И вот болею, голова в жару, и жар то невыносимый, тяжёлый, то сладостный, и, конечно же, малиновое варенье, и морская рябь чая в блюдце,   
и бабушкин голос, тон, который она будто специально держит для меня, больного, говоря коротко и немного торжественно. И мне будто и разрешается много, но и интерес ко мне особый, внимательный. И особое обострённое чувство вызывает заоконная свежая жизнь, которая доходит как сквозь ватный подбой и которую взрослые приносят с улицы словно мне в упрёк.

И вот завязывается озноб, и вместе с жаром начинают клубиться шершавые бездны, наваливаются адские вереницы несметных чисел, меня мутит, и я рушусь в серые пупырчатые жернова, которые всё вращаются и вращаются, и именно это вращение наконец и выносит меня отдышаться. И я ворочаюсь в потном облаке жара уже с наслаждением, и если начинаю о чём-то думать, то картины сами растут, наслаиваются и обретают необыкновенную горячечную притягательность. И я, конечно, представляю своих любимых хищных птиц, которых обожаю рисовать и которые мне нравятся своим свирепым взглядом из-за нависающего надглазного козырька. И я тоже хмурюсь и очень хочу быть грозно похожим на орла, особенно при Люде. Представляю и Люду и как она бессознательно улыбается и поворачивает голову в сторону Коли, когда он городит какую-то смешную грубятину.

В жару образы обретают сверхсилу, цветную выпуклость. Я и в обычной-то жизни прекрасно чувствую тополя, а тут они буквально выдвигаются навстречу – утренние, ледяные, гладкие, как железная труба, как промёрзшая кожа. Появятся и исчезнут, и снова вскипает варево жара, а когда малиново-чёрные клубы расступаются, вижу картину, по края наполненную спасительной крепостью, потому что в неё перешли чугунные ядра, катавшиеся в моей голове. В ней всё просто и прекрасно: два великолепно мёрзлых, прямых как стрела тополиных ствола.

Ствола два, а нас трое: Люда Полякова, Колька и я. Люда в синем пальто и в кружевном кокошнике. За тополями у забора остатки снега, у нас под ногами тополиные корни взламывают асфальт, и на них лежат два скворечника. Чтобы их потом поднять, пояса наши обмотаны верёвками. Кто первый повесит скворечник, того и поцелует Люда Полякова. Будучи первейшей руки знатоком птиц, я лучше всякого Кольки знаю, как лезть и вешать.

Утро ясное, к обеду пригреет, и клейкие, похожие на ос в меду, почки вот-вот набухнут на ветках, и я чувствую их острый горьковатый запах. Но пока рано и морозец. А по мёрзлому стволу особенно опасно лезть.

Неизвестно откуда появляется Нелли Григорьевна с остальным классом, болеющим, ясно, за Кольку. Нелли Григорьевна не разрешает мне лезть, но я рассказываю ей про мои летние залазы, и она сдаётся. Да и Колька рвётся, а он настолько влиятелен, что Нелли Григорьевна не может отказать. Удивительно, насколько она считается с его видностью, завораживается им. Таким никто ни замечаний не делает, ни к директору не вызывает, хотя Колька троечник, как и я.

Я опережаю Кольку и лезу на тополь, и чувствую, как простреливает под коленками, когда нога соскальзывает с бугорка. Ствол гладкий, и на бугорки вся надежда. Главное, долезть до толстой ветки. Ярко вижу голый бледно зелёный ствол и опиленный отвилок на фоне синего неба.

Знаю, что Люда смотрит, и когда у меня снова соскальзывает с бугорка нога, у неё вырывается нежное и испуганное: «Ахх!» Но я долезаю, сажусь верхом на развилку и победно поднимаю на верёвке скворешник… Колька с красным от злобы лицом карабкается по соседнему стволу и который раз бессильно сползает.

В разные залазы я то прибивал скворечник гвоздями, то привязывал за сук. И всегда труднее всего было слезть. Но я обнимаю мой тополь, что есть силы, прижимаясь щекой к его промороженной шкуре, – и, спасибо тебе, брат-дерево – небрежно сползаю на землю…

3

Лет тридцать спустя я крепко приболел в тайге, и тогда особенно часто заприходила ко мне во сне бабушка, поя малиной и читая «У Лукоморья дуб зелёный». Я всё спрашивал, помнит ли она те тополя и запах их клейких листочков, а она говорила держать ноги в тепле, а голову в холоде. И ещё, что не никогда не выздоровлю, если буду *«мало читать и так тосковать по ней и по детству»*.

Той весной я много читал, когда выздоравливал. День поправки выдался вовсе особенный – я проснулся от истошного писка: серые в полоску котята пищали тонко-тонко в картонном ящике. К ним, негромко и отрывисто взмяукивая, бежала Мяка. Неузнаваемо собранная, она мягко впрыгнула в ящик и, продолжая отрывисто мурчать, улеглась навстречу шевелящейся серой массе.

В этот день букетик верб принесла мама и поставила в длинную хрустальную вазу, на мелких гранях которой настолько причудливо заиграл свет, что ваза казалось прозрачным древесным стволом с соками, бегущими по жилам. Это были первые вербы, которые я запомнил, и они так и остались в памяти как, как заглавные. То же можно сказать и про котят в ящике, и про первую спичку, пущенную по ребристому ручью вдоль тротуара.

С этими открытиями-сокровищами я и шёл в школу солнечным тёплым днём, не забыв заглянуть в арку на тополя, которые стояли теперь особенно знакомо и заманисто.

В школе стояла беда: ходили в детский сад вешать скворечники, Нелли Григорьевна отправила Колю на тополь, а он, сорвавшись, упал головой об асфальт и теперь лежал в больнице, где ему делали «трепонацию черепа». С ряда на ряд переползало страшное это слово, которое кто-то из детишек не мог толком выговорить и произнёс «трупонация». Девочки ревмя ревели. Люда, если раньше худо-бедно замахивалась на меня учебником, то теперь не замечала вовсе и, оводя заплаканными глазами класс, не задерживалась на мне или глядела как сквозь предмет.

Бледная Нелли Григорьевна в начале урока сорвалась вдруг со стула, сказала, чтоб мы сидели тихо, что её вызывают к директору, а вернувшись, сказала, пряча глаза:

– Ребята, если вас будут спрашивать, пожалуйста, скажите, что я Колю не посылала на дерево.

Мальчики молчали, а девочки пустили заговорщицкий шёпоток:

– Ребята, надо сказать, а то Неллю Григорьевну посадят в тюрьму.

Я переживал на Колю, не жаловал Нелли Григорьевну, и желание за нас спрятаться показалась мне мелковатым. Бабушке я всё рассказал в надежде, что она разделит моё недоумение. Бабушка умела так красноречиво омолчать мои умствования и так поджать губы, что ты чувствовал себя полным дурнем. Я попытался, объяснить, что, мол, она ж «вырви глаз», «ты сама говорила», но бабушка сказала, что «вырви глаз» сейчас вспоминать об этом. Я стал допытываться почему,   
а бабушка завела обычное: чем спрашивать глупости, лучше поставить себя на место другого человека.

– Бабушка, – нудил я.

– А?

– А что бы ты на её месте сделала?

У бабушки был голос, который я называл «скучный» – когда она была вынуждена объяснять что-то очевидное, когда ей было удивительно, как можно очевидное не понимать, не знать нутром и проявлять такую «серость». Меня всегда интересовали коренные вопросы, связанные, к примеру, с деторождением. Однажды я крепко прижал бабушку: зачем нужны отцы и как дети попадают из живота наружу? Бабушка взялась объяснять про мужское и женское семечки, которые-де, соединяются, и потом из них непонятно как является ребёнок. Учитывая, что бабушка терпеть не могла семечки, я плюнул и перешёл ко второму вопросу. У нас дома считалось, что маме разрезают живот и оттуда тебя достают, но такая завязка на больницу и ножик казалось противоестественной, не природной: а вдруг нет рядом доктора? Так что: откуда появляются дети?! Бабушка не хотела отвечать, я нудил, и она вдруг замолчала, а потом обречённо брякнула детское словечко, обозначающее место, откуда появляются дети. Стало нестерпимо стыдно, неловко, что вынудил на откровенность, зная неспособность бабушки врать. Обречённый этот голос я и называл «скучным». И сейчас бабушка сказала «скучным голосом»:

– Я бы упала с дерева.

– Как упала?

– Да так. Не дай бог на её месте оказаться.

Никто, конечно, никакую Нелли Григорьевну не посадил и не тронул, но Коля, говорят, потом долго болел, хотя дальнейшую его судьбу я не знаю, поскольку перешёл в другую школу.

А потом настала первая моя Пасха, и мы с бабушкой пошли в Новодевичий. Ни сборов, ни дороги не помню – помню только, как подходили вдоль монастырской стены к воротам и что виднелась Москва-река. В Москве было достаточно монастырей, мне привычных, а может, и взор я ещё не набил на красоту, но прекрасный образ этого монастыря до меня тогда не дошёл.

Но то, что я испытал далее, – не забыть. Внутри монастыря возле храма длинно стояли столы, покрытые разноцветьем рушников, обильно крашеных яиц в расписных чашках, тарелок с пасхами и куличей со свечами. Кипело, гудело, ворковало оживлённое варево женщин, старушек в платках, цвело действо, старинное, дивное, яркое – я отчётливо помню его дух, питавший в те часы бабушку.

В храме на Литургии меня поразило пение Символа Веры. Вслед за батюшкой оно кругово народилось вздохом, шорохом, и я ощутил себя в центре этого нарождения, многоголосого и многоколосного, когда десятки людей, неказисто иссушенных возрастом, обратились вдруг в единый чистейший напев. Особо заворожил переход на словах «Вседержителя-я-я-я», уход вверх на этом «ляяя». Ничего близкого по аскетизму и человеческой понятности я не слышал… Помню и свою зажатость меж прихожанами, и непривычку долго стоять, борьбу с собой… Но самое незабываемое началось дальше: когда совсем рядом режуще-свеже возрос сильный и особенно живой голос, который стебельчато перевиваясь с остальными, уводил их под купол. Пела совсем рядом молодая женщина с большими серыми глазами. Что поразило в её пении? Полное отсутствие концертного желания показать себя и при этом небоязнь петь во всю силу. Она будто говорила: «Да. Я могу сказать о главном так вот прекрасно, но меня здесь нет, а есть образ, и я знаю, как он отзывается в вас, и именно силой этого отзыва и жив мой голос».

Напев, уже ставший моим, повторился в Отче Наш, и снова шла служба, и мне всё труднее стоялось, и я чаще поглядывал на бабушку в надежде на поблажку. Но она смотрела вперёд и, чуя моё переминание-топтание, не переводя взгляда, крепко взяла меня за руку. Зычный богатый голос возгласил: «Христос Воскресе!» и, исподволь зашелестев, эхово преобразуясь под сводом, стал нарождаться шелест листьев, переплеск крыл, который, олетая весь храм, собрал по зёрнышку «Воистину Воскресе» во единый протяжный, мятущийся колос.

Так впервые по милости бабушки испытал я благодать соборного единения. И теперь ощущаю исходящую от бабушки в тот день осязаемую волну: быть здесь со мной – и в храме на Литургии, и на улице у праздничных столов. Чувствовать ликование обступивших старушек в платочках, синего неба, воробышков, клюющих крошки от куличей. И не проронив слова, сказать *всё* счастливым и строгим своим видом, торжественным молчанием, означающим одно: «Внимай». Такое бывает в единственном случае – когда приходят на Родину.

Бабушка, я внял всему, что ты завещала. Сберегу, не предам и не отдам на поругу ни ракитного кустика земли родной. Передам завещанное правнукам, яко же приях. Одного лишь не в силах исполнить: не тосковать по тебе и по детству.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.

И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино Крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых,

и жизни будущаго века.

Аминь.